

споры представителей разных научных направлений вокруг проблемы «язык и мышление» — это чаще всего не диалог, а словесный турнир, где стороны обмениваются репликами «Научно!», «Не научно!», «Субъективно!», «Объективно!». Но ведь понятия «научности», «субъективности» и «объективности» претерпели существенную эволюцию уже на глазах ныне работающих исследователей. Стало ясно: наука теряет в своей объективности, когда забывает о том, что она субъективна.

Нам уже приходилось писать, что в основе исследовательской деятельности лингвиста лежит постоянное использование двух несомненно «субъективных» исследовательских процедур: интроспекции и рефлексии [см. 6]. Лингвист прибегает к интроспекции, когда моделирует свое языковое сознание, и к рефлексии, когда осознает характер своей познавательной деятельности и фиксирует сам факт осознания. Но чтобы признать интроспективные и рефлексивные процедуры естественными этапами научного познания, потребовалось почти столетие! Неудивительно, что экспериментальные работы, включавшие интроспективные и рефлексивные шаги, долгое время оценивались как стоящие вне основной линии развития науки: провозглашалось, что эксперимент должен быть внесубъективен. Иллюзия, что внесубъективный эксперимент возможен, заслуживает особого анализа, если мы говорим о путях изучения в эксперименте отношений между языком и мышлением. С этой целью скажем несколько слов об истории проблемы.

Среди первых, кто пытался изучать отношения между языком и мышлением в эксперименте, мы можем назвать Г. Эббингауза. В одном из наиболее известных опытов он сам был своим собственным испытуемым. Существенно, что это происходило вовсе не по небрежности или безразличию: это был осознанный шаг. Эббингауз был тонким экспериментатором и считал, что контроль над условиями эксперимента лучше всего можно обеспечить именно таким путем. Изучая на себе запоминание неосмысленных слогов, Эббингауз заметил, что одни слоги он запоминал лучше, чем другие, выделяя их из материала как более «осмысленные». «Больше смысла» в этих слогах для Эббингауза было потому, что эти слоги в его сознании выступали как чем-то похожие на «настоящие слова». Эти самонаблюдения Эббингауз естественно экстраполировал на других носителей языка, полагая, что их мышление и представления о «смысле» устроены в принципе так же, как его собственные. Поэтому для дальнейших экспериментов следовало отбирать слоги, которые были бы для всех в равной мере «неосмысленными». Едва ли уместно упрекать Эббингауза в «субъективизме»: ведь если бы ученый вначале не поставил указанный опыт на самом себе, т. е. не обратился бы к собственной психике, то откуда могла бы возникнуть гипотеза о том, что в слоге типа СВО «больше смысла», чем в слоге типа УВР?

В науках о человеке, за редчайшими исключениями, исследователь всегда начинает с интроспекции — он мысленно примеривает эксперимент к себе, совмещая в одном лице экспериментатора и испытуемого. Современный ученый при этом обязан понимать, что факт изучения психики исследователя с помощью его же собственной психики создает новый объект изучения, — т. е. он должен совершить акт рефлексии. Эббингауза можно упрекать не в интроспекции как таковой, а в отсутствии рефлексии по поводу интроспективной процедуры. Итак, интроспекционисты не задумывались о том, что, наблюдая свою психику, они тем самым уже изменяли ее. Отодвинувшись от той эпохи, мы должны тем не менее помнить, что интроспекционисты осознавали свой путь изучения языка и мышления как четкий выбор одной из двух познавательных установок: и з у ч а т ь с в о ю п с и х и к у, мышление и язык, поскольку собственный внутренний мир исследователю дан непосредственно, и л и и з у ч а т ь п о в е д е н и е д р у г и х л и ц, поскольку только на такой основе можно умозаключать о ненаблюдаемой чужой психике. Второй путь,